

УИЛЬЯМ СТАЙРОН

ПРИЗНАНИЯ НАТА ТЕРНЕРА



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

От автора

Единственный осуществившийся и сколько-нибудь длительный мятеж, занесенный в хроники волнений американских негров времен рабства, произошел в глуши юго-восточной Виргинии в августе 1831 года. От тех времен до нас дошел только один значимый документ, касающийся этого восстания, — тоненькая двадцатистраничная брошюрка под названием «Признания Ната Тернера», изданная в Ричмонде спустя примерно полгода; свою книгу я предварил вступлением к той брошюрке, а некоторые отрывки из нее вставил в повествование. В общем-то я старался как можно реже отклоняться от фактов, *признаваемых известными*, — как о самом Нате Тернере, так и о восстании, им возглавлявшемся. Однако, вторгаясь в области, познанные недостаточно — будь то детство Ната, его внутренние мотивировки и тому подобное (что делать, о таких вещах знаний почти всегда не хватает), — я разрешал себе полную свободу воображения, но полагаю, что не вышел за рамки тех скудных сведений, которые об институте рабства дает история. Относительность времени позволяет нам быть гибкими в суждениях: 1831 год был одновременно и очень давно, и чуть не вчера. Возможно, читатель возыме-

ет желание извлечь из повествования мораль, тогда как я пытался лишь воссоздать человека и его эпоху, причем так, чтобы в результате получился не столько «исторический роман» в обычном понимании, сколько раздумья на тему и по поводу истории.

*Уильям Стайрон
Роксбери, Коннектикут
Новый год, 1967*

ОБРАЩЕНИЕ К ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Недавняя смута в Саутгемптоне весьма взволновала общественное мнение и вызвала тысячи праздных, преувеличенных и превратных измышлений. Впервые в нашей истории произошло открытое смятение рабов, сопровождавшееся к тому же столь мерзостными проявлениями жестокости и бесчинства, что оные не могли не произвести глубокого потрясения умов не только в общине, испытавшей сию прискорбнейшую трагедию, но и во всех уголках нашей страны, где можно встретить представителей упомянутой категории населения. Повсюду граждане пытаются уразуметь причину появления и развития сего возмутительного заговора, понять, чем руководствовались его жестокосердные исполнители. Мятежные рабы были поголовно уничтожены, либо схвачены, подвергнуты суду и казнены, однако никто, за исключением их предводителя, не сообщил положительно ничего разумного ни о двигавших ими помышлениях, ни о тех средствах, коими они полагали достичь желаемой цели. Все, так или иначе связанное с этой печальной и загадочной историей, оставалось неведомым, пока не захватили предводителя разбойной шайки Ната Тернера, чье имя отозвалось во всех пределах обширной нашей державы. В воскресенье, тридцатого октября,

некий человек, действуя в одиночку, поймал сего «лихого разбойника» в земляной норе неподалеку от усадьбы его убиенного владельца и на следующий день водворил в окружную тюрьму, причем тот нимало не оказывал сопротивления. Поимщиком был Бенджамин Фиппс, вооруженный заряженным, якоже подобает, дробовиком. Единственным оружием Ната оказалась небольшая легкая шпага, которую он незамедлительно отдал и умолял пощадить его жизнь. С разрешения тюремщика я имел к нему свободный доступ от начала его заточения и, коль скоро он проявил желание по доброй воле сделать полный признательный отчет о замысле, развитии и претворении мятежного смущения рабов, коего он был вдохновителем и главой, я вознамерился, с его собственных слов, перенести его признания на бумагу, а за сим, к вящему удовлетворению любознательности общества, опубликовать их, ничего или почти ничего в них не меняя. Правильность записи его откровений удостоверяется свидетельством членов Суда округа Саутгемптон, к сему прилагаемым. Касаясь самих признаний, оные, несомненно, отмечены печатью правды и искренности. В отличие от всех прочих подвергнутых розыску злоумышленников их главарь не только не пытался обелить себя, но честно признавал всю ответственность за содеянное. Так, он признал, что не только подстрекал к мятежу, но и нанес первый удар, положивший начало кровавым бесчинствам.

Из этого с очевидностью явствует, что, в то время как на поверхности течение общественной жизни представлялось спокойным и умиротворенным, в то время как никто не слышал даже отзвука зловещей подготовки, шороха, который предупредил бы обреченных пору-

ганию и смерти обывателей, угрюмый фанатик, таясь, аки в средоточии тенет, в своих несообразных, изуверских умышлениях, задумывал огульное и всеобщее избивение белых. Да, умышлениях, и не только злокозненных, но бестрепетно и страшно воплощенных на всем опустошительном пути безжалостных душегубов. Мольбы о пощаде не трогали их каменных сердец. Вспоминание прошлых к ним снисхождений нимало не умягчало наглости произволения бесноватой ватаги. Мужчины, женщины и дети, стар и млад — все подверглись единой жестокой пагубе. Ни одна орда дикарей в кровавом набеге не была столь щедра на расправу. В умножении же злодеяний их сдерживала, по-видимому, лишь боязнь собственной уязвимости. Также же далеко не самое малоприметное в сей ужасающей истории — это вопрос о том, как случилось, что шайка, побуждаемая столь дьявольскими намерениями, оказала весьма слабое сопротивление, едва на ее пути встали белые с оружием в руках. Казалось бы, одно отчаяние и то способно было вызвать большее упорство. Но нет, каждый искал спасения поодиночке: пытаясь скрыться, либо воротясь домой в надежде, что его участие в смуте останется незамеченным, и по прошествии нескольких дней все были либо застрелены, либо пойманы, подвергнуты суду и казнены. Нат пережил всех своих соковников, но и его хождения вскоре прервет виселица. Обществу же для исследования предлагается его собственный отчет о заговоре в первоначальном изложении и без каких-либо сторонних толкований. Прочтение одного дает пугающий и, есть надежда, полезный урок касательно действия умов такого сорта, что силятся вступать в обращение с вещами, их постижению недоступными. Как

поначалу ум его смущен был, сбит с толку, затем же растлился, и в окончательном помрачении злодей измыслил и совершил гнуснейшие, поистине душераздирающие деяния. Нелишне также, что сие, с одной стороны, показывает, сколь разумны и благоустроительны в обзудании упомянутой категории населения наши законы, с другой же — убеждает тех, кто казнь душегубов обнадежен, да и всех граждан купно, что исполняются законы неукоснительно и сурово. Поколику свидетельства Ната можно верить, то планы и поползновения зачинщика были ведомы лишь нескольким ближайшим его подручным, а смута в округе — событие исключительно местное. И была таковая не сведением чьих-то счетов, не порывом внезапного гневного озлобления, но результатом заранее обдуманых и целенаправленных усилий закосневшего в лукавоухищрениях ума. Порождение угрюмо-страстного фанатизма, смута сия затронула материи слишком истончившиеся, изначально слишком к такому поправанию готовые, и теперь надолго запечатлеется в анналах народной памяти; еще многие матери, прижимая к груди ненаглядное чадо, содрогнутся, вспомнив о Нате Тернере и его ватаге кровожадных выроdkов.

С верою, что нижеследующее описание, призванное осветить вопросы, каковые в ином случае неминуемо породжали бы догадки и сомнения, будет принято благосклонно, оное вниманию общественности почтительно преподносится. Ваш покорный слуга,

Т. Р. Грей
Иерусалим, округ Саутгемптон, Виргиния;
5 ноября 1831 года.

Мы, нижеподписавшиеся, члены Суда, собравшегося в Иерусалиме в субботу пятого ноября 1831 года для слушаний по делу негра, раба по имени Нат, он же Нат Тернер, ранее находившегося в собственности покойного Патнема Мура, настоящим удостоверяем, что записанные Томасом Р. Греем признания Ната прочтены в нашем присутствии подсудимому; за сим, когда председательствующий в суде спросил его, может ли он назвать какую-либо причину, по которой его не следует приговаривать к смерти, подсудимый ответил, что более сказать ему нечего сверх того, что он сообщил уже мистериу Грею. Собственноручно подписи и печати приложили в Иерусалиме, того же 1831 года, ноября, 5-го дня:

Джеремя Кобб, <печать>

Томас Претлов, <печать>

Джеймс У. Паркер, <печать>

Кэр Боуэрз, <печать>

Сэмюэль Б. Хайнз, <печать>

Орис А. Браун, <печать>

Часть первая
СУДНЫЙ ДЕНЬ

И отрет Бог всякую слезу с очей их,
и смерти не будет уже;
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет,
ибо прежнее прошло.

Над пустынной песчаной косой, что вытянулась у впадения реки в море, на сотни футов вверх вознесся холм или, скорей, утес — последняя, самая дальняя оконечность суши. Попробуйте представить себе этот утес, а под ним устье реки — широко разлившейся, мутной и неглубокой, подернутой складчатой рябью в том месте, где река сливается с морем и течение сталкивается с океанским приливом. Близится вечер. Погода ясная, все сверкает, и кажется, что всюду солнце, тени нет вовсе. Может быть, это начало весны; или конец лета; какое время года, не так важно, важнее то, что воздух мягок и благорастворен, нет ветра, нет жары, нет холода; будто и времени года никакого нет. Как всегда, я один и словно плыву на чем-то вроде лодки (маленькой-маленькой, то ли это каноэ, то ли каяк, я в ней полулежу, приятно откинувшись, — во всяком случае, у меня нет ни чувства неудобства, ни даже напряжения, и я не утруждаюсь греблей; лодка движется, вяло влекомая током вод), я тихо плыву в сторону мыса, за которым вширь и вдаль без конца и края раскинулось темно-синее море. На берегах реки безлюдье и тишь; ни зверь не прошуршит в подлеске, ни чайка не взмлет с не тронутого ничьей ногою песка.

И так действует это полное молчание и совершеннейшее одиночество, что кажется, будто жизнь здесь не погибла даже, а исчезла, просто остановилась, и все это — берега, речное устье и морской прибой — навсегда останется неизменным под недвижным оком слепополуденного солнца.

Подплыв ближе к мысу, я поднимаю взгляд на утес, нависающий над морем. Там вижу опять-таки наперед известную мне картину. Залитое солнцем дивно-белое строение величаво проступает на фоне синего безоблачного неба. Прямоугольное, оно сложено из мрамора подобно храму; архитектура его проста: никаких колоннад и даже никаких окон, вместо них ниши, назначение которых загадочно, — вверху скругленные арками, они вереницей обегают две видимые стены. Здание не имеет двери — по крайней мере мне дверь не видна. Без дверей, без окон, оно как бы лишено смысла, напоминая, как я сказал уже, храм, но храм, где никто не молится, или склеп, где никто не похоронен, или памятник чему-то загадочному, невыразимому, не имеющему названия. Но, как всегда, когда я вижу этот сон или видение, я не задумываюсь над назначением странного сооружения, одиноко стоящего на дальнем океанском мысу, поскольку в самой его бессмысленности чудится какая-то всеохватная тайна, взявшись разгадывать которую ощутишь только полнейшую и, быть может, еще более мучительную растерянность, будто попал в лабиринт.

Значит, опять это видение, которое навязчиво, вновь и вновь, повторяется который год. Опять я в углой лодчонке, и опять течение тихой реки несет ее к морю. И снова в той дали, куда я плыву, тяжело, но без угрозы,

вздыхает солнечный океан. И вот коса, и вот высокий утес, и, наконец, ввысь невозмутимо возносится дивно-белый храм, но я не чувствую ни страха, ни благоговения, ни смирения, одно лишь осознание великой тайны, и я плыву себе дальше, дальше, в морскую ширь...

Ни в детстве, ни теперь, когда мне перевалило за тридцать, так и не смог я разгадать смысл этого сна (или *видения*, ибо, хотя обычно оно посещало меня в моменты пробуждений, бывали случаи, что, работая в поле, обходя в лесу силки на кроликов или выполняя какое-нибудь разовое поручение, я вдруг совершенно въяве видел, как передо мною вспыхивает эта сцена со всею глубиной, четкостью и устойчивостью материальности, словно картинка из Библии; этот мгновенный сон наяву вдруг *пресотворял* перед моими глазами и реку, и храм на океанском мысу, но так же быстро все пропадало); ускользало от меня и чувство, которое этот сон вызывал во мне: чувство тайны, успокоительной в своей неразрешимости. У меня нет сомнений, впрочем, что все это исходит из детства, когда белые частенько говорили при мне о городе Норфолке и о том, чтобы «поехать к морю». Ведь Норфолк всего в тридцати милях к востоку от Саутгемптона, а океан в нескольких милях за Норфолком, куда белые наезжали, бывало, по торговым надобностям. Не только белые — знавал я даже и негров, которые ездили из Саутгемптона со своими хозяевами в Норфолк и видели океан. Их рассказы о тамошнем пейзаже — о бесконечной синеве, о водной шире, простирающейся куда хватает глаз и даже дальше, словно до самого дальнего края света — так распалили мое воображение, что желание лицезреть это собственными глаза-

ми превратилось в подобие острого, чуть не телесного голода, и случались дни, когда у меня будто и в голове ничего не оставалось, кроме воображаемых волн, далекого горизонта и стонущего над морем ветра, кроме вольных голубых небес, царственным куполом нисходящих к востоку, к Африке — такое было чувство, словно, единожды увидев это, я разом постигну все древнее, океаническое, хаотическое великолепие мира. Но поскольку удача мне в этом отношении не споспешествовала и я так и не удостоился поездки в Норфолк к океану, приходилось удовлетворяться одним лишь внутриумственным, воображаемым видением; вот откуда этот фантом, эта уже описанная мною постоянно повторяющаяся иллюзия, хотя, отчего вдруг на утесе храм, по сей день загадка — загадка в нынешнее утро еще и большая, нежели когда-либо за все те годы, что я себя помню.

Исчезая, видение чуть помедлило — полусон, полувоспоминание о нем в рассветном сумраке, что забрезжил у меня перед глазами, едва я их открыл, — и я вновь смежил веки, наблюдая, как белый храм истончается в безмятежно-тайном свете и пропадает, удаляется, забывается.

Приподнявшись с кипарисовой скамьи, на которой спал, я безотчетным сонным движением резко сел, повторив ошибку, которую совершал уже четыре раза за такое же число утренних пробуждений: сбросил ноги со скамьи вбок, но вместо того чтобы достичь ими пола, только того и достиг, что натянул цепь ножных кандалов, металл впился в щиколотки, и ноги косо повисли в воздухе. Я вновь поднял их на скамью, потом сел и, дотянувшись рукою, стал растирать под кандала-

ми кожу на лодыжках, чувствуя пальцами, как с током крови возвращается тепло. Впервые в этом году утро дохнуло зимой — стало сыро и холодно, я заметил даже бледную полоску изморози на стыке пола из твердой глины с нижней доской тюремной стены. Несколько минут я так сидел, растирая лодыжки и поеживаясь. Вдруг я очень проголодался, желудок прямо скрутило. Пока все тихо. Позавчера в соседнюю камеру посадили Харка, и теперь из-за дощатой перегородки доносятся его тяжелое дыхание — клопочущие, придушенные всхлипы, как будто воздух проходит у него прямо сквозь рану. Мгновение я был близок к тому, чтобы шепотом позвать его, разбудить, ведь до этого нам поговорить не удавалось, но он дышал так медленно, так изможденно. Я подумал: ладно, пусть спит, и слова, уже готовые сорваться у меня с губ, остались произнесенными. Неподвижно сидя на скамье, я наблюдал, как рассветные сумерки рассеиваются, свет мало-помалу украдкой вливается в камеру, наполняет ее, словно чашу, жемчужным сиянием. Где-то прокукарекал петух, и крик его был далек и тих, как очень дальнее боевое «ура», он отозвался еле слышным эхом, замер, и опять тишина. Потом еще один петух, уже ближе. Я долго сидел так, слушал и ждал. Минута шла за минутой, но, помимо дыхания Харка, не раздавалось ни звука, пока наконец откуда-то не донесся сигнал рожка — такой грустный и такой знакомый звук, мягкий и какой-то полый, словно затихающий стон с полей за Иерусалимом: это где-то на ферме будили негров.

Повозившись с цепью, я ухитрился спустить со скамьи ноги и встать. Цепь давала ногам ходу около ярда; прошаркав, сколько возможно, и вытянув шею,

я смог выглянуть из неостекленного зарешеченного окошка на рассветную улицу. Иерусалим просыпался. С того места, где я стоял, видны были два дома, притулившиеся на краешке речного откоса у съезда на деревянный мост. В одном кто-то ходил со свечой: мерцающий свет переместился из спальни в горницу, в сени, потом на кухню, где в конце концов и остался — желтоватый, дрожащий. На двор другого дома, что ближе к мосту, вышла старуха в пальто и с ночным горшком в руках; держа дымящийся сосуд перед собой, как алхимик свой плавильный тигель, она, прихрамывая, двинулась через замерзший двор к побеленной дощатой уборной; дыхание исходило у нее изо рта тоже на манер клубов дыма. Открыла дверь уборной, вошла, в морозном воздухе раздался краткий вскрик поржавелых петель, и ружейным выстрелом бахнула закрываясь за нею дверь. Внезапно я ощутил такую дурноту, что и чувство голода, и вообще все чувства исчезли. Перед глазами заплясали пятнышки света; казалось, вот-вот я упаду, но, схватившись за подоконник, я удержался; прикрыл глаза. Когда я вновь их открыл, свеча в первом доме уже погасла, а из его трубы сероватой струйкой курился дым.

Тотчас издалека донесся дробный стук — глухой, сбивчивый ритм торопливых копыт; он становился громче и громче, приближаясь с запада, с противоположной стороны реки. Я поднял взгляд на тот берег, он был всего в пятидесяти ярдах; там маячила, постепенно прорисовываясь, стена леса: спутанные кипарисово-эвкалиптовые заросли над холодными, мутными и медленными водами в рассветной мгле. В стене леса прореха (там проселок), в прорехе тут же